

АНДРЕЙ
БЕЛЫЙ

МОСКВА

Москва

Андрей Белый

Москва под ударом

«Public Domain»

Белый А.

Москва под ударом / А. Белый — «Public Domain», — (Москва)

Романы Андрея Белого «Московский чудак», «Москва под ударом» и «Маски» задуманы как части единого произведения о Москве. Основную идею автор определяет так: «...разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигентском кругу». Но как у всякого большого художника, это итоговое произведение несет много духовных, эстетических, социальных наблюдений, картин.

© Белый А.

© Public Domain

Содержание

Предисловие автора	5
Глава первая. СВАЛЕНЬ СОБЫТИЙ	6
1	6
2	8
3	11
4	14
5	17
6	19
8	22
9	25
10	27
11	30
12	33
13	35
14	37
15	39
16	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Андрей Белый

Москва под ударом

Предисловие автора

Роман «Москва» задуман в трех томах, из которых каждый – законченное целое; но оба лишь создают целое – «Москву», как мировой центр.

В первом томе, состоящем из двух частей, показано разложение устоев дореволюционного быта и индивидуальных сознаний, – в буржуазном, мелкобуржуазном и интеллигентском кругу.

Во втором томе я постараюсь дать картину восстания новой «Москвы», не татарской; и по существу уже не «Москвы», а мирового центра.

Лишь в обоих томах очертится тема моего романа.

Сентябрь 1925 года. Кучино.

Автор».



Глава первая. СВАЛЕНЬ СОБЫТИЙ

1

Вы представьте, – однажды под вечер Мандро – фон-Мандро – пробирался по неосвещенным покоям, таясь от лакеев, не в шубе собольей, а в драном пальтишке, подняв воротник; проюркнув, точно ворик, в подъездную дверь и на дрянненьких саночках, точно какой неимущий, поехал куда-то; стрельнул сверкунцами Кузнецкий, Тверская; Никитская сбавила свету; замеркли уже переулочки.

Над многоверхой Москвой неслись тучи.

Поземица снежная перевивала волокна под ноги; расстались два дома; меж ними писались замахи метели; мутнел переключик расстояний; кривой переулок разглазил фонариком; вот – и заборик: с приметамы снега.

Мандро расплатился.

Безверхий домишко желтел перед ним из теней; в прикалиток прошел; серопузая психа попала под ноги.

И голос сказал:

– Не споткнулись бы вы о корбасину.

Там из окошечка под голубым колпаком дозиратель смотрел неживым и каким-то каленым лицом.

Позвонился.

В окне дозиратель вскочил, приликая к стеклу старобабым своим подбородком; взял лампу: пошел отворять; прокащеила пастень в окне световом, переломанная на гнилявом заборике; два растрепанца в тени приворотенки лясы точили:

– Смотри-ка...

– Догожий какой...

– Долгорожий...

– И с баками...

Дверь тарарыкнула (домик был с поскрипом); и на пороге, ладонями стиснувши ворот расстегнутый, шеи своей худобину показывал Грибиков, руку простерши (живот с подтягухой); глаза – с прихиреньем; в старышке, в исплатанных, серо-кофейных штанах; как-то косо взглянул на пальтишко (зачем не в песцах), подал плоскую руку; сказал – с хрипотцой:

– Вы и есть.

Не смутило его посетительство это; строптивил всем видом своим; он пошел дерганом, валяся набок и едва волоча свои кости в прожолклую комнатку, где охватил запах каши и клея; Мандро, не снимая пальто, шел за ним, замрачась, и будто с пригрозою вымедлив:

– Что постоялец?

Он – дельтообразным казался; и Грибиков – «кси» – вдруг пропсел как-то ртом; и рукой гребанул раздражительно:

– Суторымы строит: плохонек, – овшивел... Коснулся своей бородавки, закеркал и сплюнул:

– Николил неделю: пококал посуду мою; а теперь – занутрил; не выходит из комнаты: стонет ночь-ноченски.

Косо на палец взглянул:

– И посяпору пьет. Палец вынюхал:

– Да, я могу сказать: впустопорожне живет у меня, – задербил спину он откоряченным пальцем: на дверь показал: – Полюбуйтесь сами: устроил из комнаты мне мухин сын этот мшарник.

И – дверь он открыл.

И с пожесклым лицом Эдуард Эдуардович шел в эту дверь; затворил ее; Грибиков заколтыхался к столу; и, дву-глазку надевши на нос, продолжал себе что-то подшопты-вать, тихо мурлыча, как будто его не касается вовсе при-бытье Мандро; но в глазах подымался сплошной муший зуд: любопытство сплошное.

И – мешень из мыслей.

2

Ну, ну, – и закута ж!

Муругие стены с придухою, плесенный запах; какая-то ларина, прель; не постель – просто козлы; на них – растрапья промесилища грязная; стульчик порожний (зачем-то сушился подштанник на нем); на полу и расплюй, и мокрель; на постели лежал заварызганный карлик в кофтенке кирпичной, скорей, впрочем, серой от грязи, трухлея своей передряблой и струпистой кожей; под глазом вскочил неприличный пупырь; еле дергались ноги его в потрясухе; изветошил платье: какой-то бахромыш додирывал; с сипом дышал, что-то мумлил.

Как видно, – был пьян.

Эдуард Эдуардович, чуть не заткнув нос от вони, всем видом безгливость показывал; жескнул глазами на карлика:

– Что – насандалились? – зубил он. И отвечало безгласие.

– Что ж вы молчите?

Постель разбарахталась; что-то прокеркало:

– Лучше оставьте казнение...

Мандро измертвил его взглядом:

– Вы бьете баклуши: вы пьете.

И карлик поднялся своим пролежалым лицом, пожелтелым, как старый лимон:

– Что ж, прикажете жить водохлебом? Чернела заклейка дыры носовой.

– Нет, не жить водохлебом, а, взявши солиднейший куш, двинуть дело скорей.

Карлик сел:

– Вот они, – получайте обратно.

– Что?

– Деньги: пожалуйста... Мне их не надо: довольно с меня...

Мандро вздрогнул; не без удивленья взглянул, но – сдержался; развивши стратегию взглядов и позы, пожеск-нул лицом:

– Нате... – карлик затрясся. – Пожалуйте... Там вот – там, там: под периной... Своими руками берите обратно... Не я ли следил, как умел? Завел связи с прислугою... Все разузнал: и про письменный стол, и про... Что? Вам все мало: я знаю, чего вы хотите... Чтоб я ж и украл их?

Мандро столпенел.

– А вы знаете, что говорится в писании? Там говорится: Тебе говорю, Кавалькас, – не укради!

Стащился с постели; стал рыться в разгрязах! и, вытащив старый замотыш, потряс им над лобиком:

– Вот они, сребреники!

И на кривеньких ножках приклевал к Мандро, под микитки:

– Смотрите же...

Поднял свое желто-алое глазье: и лютою злобой резнуло оттуда:

– Вот.

Брошенный мотыш, ударив Мандро прямо в лоб, шлепнул в пол; и Мандро его поднял: и – бросил обратно в лоскутную рвань:

– Ну-ну-ну...

Зашептал примирительно, злобу сдавив и руками схватясь за бока:

– Походите на кухню, скрепите сношенье с прислугою: понаблюдайте...

Вот – все...

Карлик стул подтащил, встал на стул; шею вытянул; ручками – в боки, нос – в нос (или лучше сказать, в нос – отсутствие носа).

– А...?

– Что же еще? Ткнулся пальцем о дыру.

– А за нос?

Тут Мандро, изо лба сделав морщ, прошипел, задыхаясь от злобы:

– Напрасно вы: старая песня...

– Но я докажу...

– Вы ничем не докажете...

Карлик ощерился: в горле его, клокоча – засипело:

– Сес...

– Полноте!...

– сссиффилисс...

– !...

– ссом...

– !!

– заразили...

– !!!

– Все...

А со двора заглянули в окно:

– Кто такой?

– Густобровый...

– Вот, – баки расправил...

– Мандра...

– Он и есть...

Но Мандро, помолчав, пересилил себя:

– Обойдется...

Усевшись на стуле верхом, к спинке стула прижавшись морщавеньким лобиком, карлик рыдал: безутешно: под ба-

кой Мандро:

– Людвиг Августович, – успокойтесь: ну – полноте, ну, – Людвиг же Августович!...

– Ах, оставьте меня, сатана!

– Пустяки.

– Одолели сомнения, – глазье поднял желто-алое, – религиозные...

Снюхался, видно, с княжною в штанах:

– Чем я был?... Чем я стал?...

– Чем вы были?... Припомните лучше «Паноптикум» на Фридрихштрассе... Вот чем были вы... Чем вы стали? Что ж, – вы человек обеспеченный...

– Уж разрушается небо... О, о!

– Там подлечат.

– О, о... О, майн готт! Ковалькас, Людвиг Августович, чем ты стал? О! О! О! Ты – убил... Ты – украл... Ты – не чтит отца с матерью... Ты – любодействовал... Ты... Ты... О, вэ, – перешел на немецкий язык он, – Марихен, Марихен, майн швестер: их бин онэ назэ!... О! О!

Мандро, не решался сесть на брезгливости, стиснувши губы, с досадою ждал окончания припадка; порыв безутешного горя сменился порывом большой экзальтации:

– Не отвернись от меня, ду, майн готт: я постиг теперь свет, – перешел он на русский язык, – ты послал мне одну свою добрую душу, которая...

Вот так княжна!

– О, я буду лечиться... Я...

Все еще плача, привстал и пропел он

В иную обитель
Пути я вознес, –
Сладчайший вкусител
Сладчайшей из роз.

Мандро это слушал: и – ждал; карлик сел на перину, шурша ею громко; за стенкой послышалось – прохиком

злобным:

– Перину-то ты обдавил: растарачил перину, – шаршун!

Беспокоился Грибиков.

Более часу возился Мандро; наконец, кое в чем он успел; кое в чем – успокоился; вышел с пожелклыми взорами, с позеленевшим лицом в переулок: в разглазные искорки вспыхнувших домиков!

Карлик, достав из-под козел бутылку, с ней лег; и просунулся Грибиков:

– Вшивец ты, вшивец!

3

Лизаша стояла перед зеркалом в люстровом свете такой вертишейкою, вертиголовкою, деля в зеркале глазки себе и юродствуя жестами, детски не детскими; а за спиною ее, из-за складок портьеры, выглядывала густобровая, густоволосая голова: Эдуард Эдуардович, в позе, с ослабленным ртом, как-то свински глядел на нее; эти взгляды ложились слишком уж пристально; липли к коленям, к груди; и, казалось, хватались за руки, за ноги, за груди, стремясь обездушить.

Ей стало неловко (а сердце в межреберья билось). Ему папиросный дымочек пустивши под нос, подобравшись, пошла прочь от зеркала с твердыми, сжатыми бровками; нервно бахромилла пальцами краешек белого шарфа; сегодня надела она свое первое длинное платье, – легчайшее, белое: юбка с оборкой плиссе.

Они ехали с «богушкой» на заседание «Эстетики». Он над зеленой доской диабаза глаза опустил и рукой гребанул бакенбарду; оправил вишневый свой галстух, – прекрасно повязанный:

– Едем!

Ему «мадемуазель фон-Мандро» показала вдруг ставшие лунками глазки, взяла его под руку, чтобы пройти с ним в проход, где со столбиков статуи горестных жен устремляли глазные пустоты года пред собою, – не видя, не слыша, не зная, не глядя.

Прошли мимо их, не увидевших горестных жен.

Уж в передней на руки прислуги валились ротонды; пропирка и подпихи локтя, защемы калошею тренов; снимались шапки собольи, барашковые, чернополые шляпы (был март); в отдаленье стоял муший зуд голосов; кто-то хмуро пенсне протирал; кто-то палку с балдашкою бросил служителю в люстровом свете; мужчины несли свои плечи по лестнице; дамы – прически, вуали и трены.

Лизаша с отцом поднималась по лестнице, устланной сине-зеленым ковром, проходя в сине-серые, тонные стены.

– Bonjour...

Эдуард Эдуардович замодулировал голосом, миной и позой с зеленоволосой русалкой, которая с ним заструилась с подплеском «бо мо»; вот она, подрусаливши взглядом, прошла в круглопляс сюртуков и визиток, в дыхание шарфов, в груди раздвоенья, прикрытых чуть-чуть, в передерги плечей оголенных, в проборов и лысин душистых подкив, в экивоки расчесов, улыбок, настроенных слов (на вине и на рифме), в свободные галстухи, в матовый рык голосов, пересказывающих распикантнейшие баламутни Москвы.

– Пукин стены гостиной своей заказал расписать Пикассо! ¹ Пикассо приезжает в Москву...

– Нет, вы знаете, чч-то есть Сэзанн? ²... Это кк... ороч-ки... чч... ерного хлеба... пп... пп... пп... после обеда пп... пп... – заикался в другом углу Пукин.

– Сс... сс... Сергей Пп... олирпыч... ггурман... В «Метрополе» ему пп... одают за обедом не сс... уп... – кк... еросинчик и вместо бб... бри... кк... кк... кк... усочек кк... азанского мм... мм... мм... мыла... – рассказывал Пукин, известнейший коллекционер, миллионер, скупщик ситцев, бросающий в Персию и Туркестан производство московских станков. Этим летом, себе заказав караван, на ослах и верблюдах он съездил к Синаю, взглянув предварительно

в очи каирского сфинкса:

¹ Пикассо Пабло (1881 – 1973) – выдающийся французский живописец.

² Сэзанн Поль (1839 – 1906) – французский живописец, предшественник кубизма.

– В гг... гг... гг... глаза бб... бб... бб... божества!

Про своих конкурентов по экспорту ситцев он так отзывался:

– Давить их, – дд... дд... дд... давить!

– Я в салоне мадам Мевуаля встретил Додю Блистейко... Он мне: «Поздравляю: война»... – «Но позвольте – ему – я ведь только что с князем Грибушинским, венским послом; он меня уверял, будто все обстоит превосходно у нас и с Берлином, и с Венной». – «Оставьте – смеется мне Додя – ведь сам же я видел новейшую карту Европы, где вместо империи Габсбургов – красною краской пятно: Юго-Славия... А э вуаля?» – «Ну и что ж, говорю?» – «Лепартаж де л'Аллемань – бросил Додя – в Париже задумано...» – «Кем же?» Смеется: «Спросите же в Гранд-Ориан».

– У Вибустиной было премило: Балк вместо «петиже» предложил всем мистерию...

– Ну?

– Вы – прозаик там – с «ну». Ну, – кололи булавкой Исая Исааковича Розмарина и кровь его пили, смешавши с бордо; ну, – ходили вокруг него, взявшись за руки.

– Дезинфицировали?

– Что?

– Булавку.

– Конечно... Фи до нк!

Эдуард Эдуардович ослабился: остановился, косясь и щурясь на гениев вкуса; пластал перед зеркалом холеной кистью руки бакенбарду, подняв над Лизашею свой подбородок; среди блеска и плеска робела Лизаша под ним растеряхою; ротик открыв, дербя белый шарф ледяными и тонкими пальчиками; Эдуард Эдуардович, видя такую ее, растарашил глаза; и – нагнулся; и – лепкой губою полез; и почмокал губою.

– Идем же, – любимочка!

Выблеснул темно-зеленый агат из ресниц на него.

Он ей руку под локоть просунул; и – дальше повел; и влеклася походкой своей лунатической; вся занялась нападающим жаром; глаза углубились.

Но их разделили.

К Лизаше в визитке коричневой, цвета «маррон», в серых брюках, полосками, шел Боттичелли Иванович; он ей представил ледащего и ляжкононого супрематиста, которого в прошлом году в Баре «Эль» бил в скулу краснощекий бубновый валет Трерицович за пошлый экспромтик:

Угодил он даме, – Написал портрет: И не скажешь сразу, Сколько даме лет.

Ледащий художник с Лизашей приятничать стал, полагая усилия к ней присесть: был нем, был поклонен; покор выражал его взгляд; Эдуард Эдуардович, взором вцепясь, наблюдал, как Лизаша уже вертопрашила шарфом и бантами, все же лучася глазами – ему, одному: там за стаей визиток и шарфиков ей молодилась изогнутым торсом, глаза опустив в загустелость своей бакенбарды; стоял, перетянутый черной визиткой, в разглаженных брюках, подтянутых, с четкою штрипкой, в лиловых, таких безупречных носках из крученого шелка; фарфоровый профиль подняв и заплававши баками, планировал свои позы с таким поэтическим видом, как будто он ими привык торговать.

И шептались:

– Он – Дориан Грей ³...

– Он живет по Уайльду...

– Он... с дочерью...

Но – поразительно: стал кровогубый и кислый, когда подошел Торфендорф, седогривый, двубокий старик, полнотелый; свое равновесие выразив словом и взглядом, старался он что-

³ Дориан Грей – герой романа английского писателя Оскара Уайльда (1854 – 1900).

то такое внушить, силясь быть равнодушным; однако Мандро понимал, что в безгрозице этой гроза собиралась; растерянно зарукодействовал над бакенбардами.

– Вы согласитесь со мною, – сказал Торфендорф очень строго, – что время не терпит, майн готт! Сами знаете, что «приближаете я»...

– Планы посланы.

– Кое-что, – сухо отрезал старик, – я согласен: вы дали; но – мало, но – мало; Берлин, – сбавил голос на шепот он, – три уж запроса прислал.

Эдуард Эдуардович ласково выюркнул взглядом и зубы пустил самопросверком: немец глазами поставил преграду меж ним и собой:

– Он открытие должен нам сдать...

– Тут есть...

– Должен он!

– Затруднение.

– Живой или мертвый! Мандро так и выюркнул:

– Все будет сделано: все! Торфендорф стал багровым, вскричав:

– Либер готт, поступайте, как знаете: я умываю, вы знаете, руки...

И, круто подставивши спину, пошел.

У Мандро на лице проступил зеленоц лихорадки.

Закучились щеголи в длинных цветных пиджаках, с перехватами, – бритые, чистые, перемудряющие друг друга приемом подделаться к даме, к купцу, к миллионеру, к Мандро, к Миндалянской и к Пушкину, от мановения пальца которого взвеивались репутации, точно ракеты под небо, не только в Москве, но и в Париже: он, взвеив Матиса⁴ до гения, выписал «гения» в пукинский дом, делал ванну ему из пенящегося редерера, и рыбой расстроил желудок; и в это же время рассказывал всем:

– Пп... пп... пп... проживает Матис у меня: зажился; пп... пп... пп... просто даже не знаю, кк... кк... как спровадить.

Спровадивши, из озорства, он, не бравший в течение жизни своей в руку кисть, подмалевывал в доме своем самый главный Матисов шедевр «Гризетку в кровавом».

Его облепили: пред ним щегольнуть анекдотиком, покрасоваться фигурками и вольно-плясом словес: декаденты, доценты, эстеты, поэты; недавно еще Пушкин куш отвалил на создание «Психологического Института»; ему развивали воззренья свои на Когэна и Гуссерли приват-доценты, являя собою картину на крыше оравших котом – перед кошкой: весною.

Как кошка, он щурился:

– Пп... пп... кк... кк... пп... пп... пп...

И к нему подскочил репортерик: обнюхать; он крючничал здесь; свой товар продавал в фельетончиках.

Он наживался на этом.

⁴ Матисс Анри (1869 – 1954) – французский живописец.

4

Лизашу уже занимала беседой своей мотылястая барышня; что-то ожгло спину ей; обернулась; и – видела: там Эдуард Эдуардыч стоял; через головы всех он возлег на ней взглядом.

Они забарахтались: взглядами.

Вдруг!

Перед Мандро слишком быстро раздвинулась кучка; из центра ее вышел где-то таившийся – маленький, рябенький – Киерко: крепкий и верткий; Мандро, заприметив его, раскрыл рот, став таким угловатым, рукастым (манжетка казалась промятою), галстух же – скошенный; он, было, – в сторону, да опоздал, потому что уже Николай Николаевич – загоготушил (с «подчерком»), засунувши руки в карманы и дергая плечиком:

– Ну-те?

– Мандрашка!

– Что, брат?...

– И ты тут?

На лице у Мандро проступил зеленец сероватый; глаза стали рысьи, а ноздри расширились; он уже видел, как в чьем-то внимательном взоре лица, призакрытого взмахами зеленоватого веера, злость и гнушенье: мадам Эвихкайтен! А Киерко, прорисовав треугольник – Лизаша, Мандро, Трофендорф, – ухватившись руками обеими за край жилета, в. подмышках, по краю жилета, награнивал пальцами дробь:

– А я, брат, признаться, не знал, что ты стал гогом-могелем, – ну-те. Я думал, по-прежнему в Киверцах бегаешь ты голоштанником.

Был гоготок из угла:

– А ты, – вот как: «Подпукиным» ходишь!

И, вдруг оборвав себя, Николай Николаевич Киерко, дернув плечом, отступил: с изумленьем вперившись к нему подступившую девочку в белом во всем, с точно вытертым мелом лицом (до того побелевшим), с кругами огромными вокруг – не двух глаз: бриллиантов, стреляющих молнией; иль – нет; Николай Николаевичу, если бы он пожелал себе дать беспристрастный отчет, показалось бы, что соблеснулись звезды – в Плеяды; Плеяды – вы помните?

Летом поднимутся в небо: пора!

Что пора?

А Лизаша, казалось, что вот, – побежала, бежала, бежала, бежала, – куда! Но бежала, чтоб выпрыгнуть, чтобы разбить это все: тут сейчас же (революционеркой считала себя): уничтожить – вот этого, маленького господничка, оклеветавшего «богушку», но с таким ей пришившимся взглядом; в ней сердце рванулось – в «пора»!

Если б им здесь сказать, что они будут оба в годах вспоминать этот миг, прозвучавший обоим настойчивой властью: «пора»!

Что?

То – длилось мгновение.

В следующие – сердце ножиком острым разрежала боль, потому что слепивший ей «богушк а» фразой о Киверцах (он не оспаривал Киерки) рушился с башни, как Сольнес; и рушилось что-то в Лизаше: ведь «он» говорил ей, что детство провел в Самарканде, а юность – в Москве; и – белела: добел – прочернел.

В горле ком появился глотательный.

Киерко же ступешался, вкрутую спиной повернувшись к Мандро, заматавшегося, потому что его поедали глазами.

И кто-то сказал, точно в рупор: десятками ртов:

– Не Мандро: Дюпердри!

А Луи Дюпердри в своей темно-зеленой визитке с растягом, оглаженный, зеленоногий, на дам загляденье, с ру-мянчиком нежным искусственных кремовых щек, уж не волос – руно завитое, руно золотое крутил, вздернув кончик такой завитой эспаньолки; и губки слагал он, как будто целуя продушенный воздух «Свободной Эстетики».

Кто-то при нем, рукотер и шаркун, представлял его дамам; и Пукин, сияя, протягивал руку:

– Рр... рад... дд... давно... пп... пп... пп... пп... пора так! Входили все новые гости.

Казалось, что каждый мужчина – срыватель устоев; и каждая дама – модель из Парижа; и все здесь – любовники всех; и казалось, что все здесь любовницы; точно купчихи, парчовые трэны развевя и перья своих вееров, здесь показывали свое глупо одетое чванство; пронес свои лысищи чех, Перешеш, откровенно живущий с мадам Жевудике, – в сплошной кругопляс, в ясный завертень барышен; томный дантист Розмарин ловил ляпис-лазури (не взгляды) мадам Эвихкайтен.

Из облачка кружев пропудрились голые руки и плечики Теклы Матвеевны Феклушиной (кто же не нежился в мраморах черных огромных «Феклушинских бань» с металлическим, темным, литым Посейдоном?).

Шутила с мадам Индианц (вот так нос – ушла в нос)!

Индианц, Мариэтта Евгеньевна, – стиль «сапристи», кабинэ-де-ботэ: брошь с агатами; платье из жёлтого канфа; глаза, налитые экстазом (ресницы же с прочернью); губы – с подкрасом; вплела себе в волосы целый бирюзник; виляя боками, покачивалась вывертной своей тальей, неслась в карусели из кружев, в волчок из визиток за Ольгою Львовной Яволь: бело-снежные руки ее, как в слезах, в бриллиантах; казалось, что плачут слезой; платье ясное, с блесочью, из серебра из живого, с изысканной выточью и перехватами: юбка из кружев, со свистами шелка под ними; и – трепетень, веер, ветрящий ей грудь; говорили друг Другу:

– Луи Дюпердри!

– Он – француз!

– Ведь мы любим французов.

– Вильдрак ⁵, Маллармэ ⁶, Мореас ⁷, Дюпердри!

– Они – наши союзники... Да?

Эдуард Эдуардович понял, что руль всей карьеры его – не рулит уже; к Капитулевичу он подошел; явно пахнувший крем-вузэмом Кадмиций Евгеньевич Капитулевич – любитель, ценитель, поклонник – такой полнотелый мужчина, – пленительный, плотолюбивый, – в муругой визитке стоял; и сказал Неручайтису, сухо подавши Мандро кончик пальца и тотчас же ставши спиною:

– Он – деньги растратил.

Кто «он»?

Эдуард Эдуардович – прямо к Губонько.

Аггей Елисеич Губонько, соленопромышленник, шукался с толстым главой фирмы «Пепс»; Эдуард Эдуардович – позеленел:

– Иахим Иахимович!

⁵ Вильдрак. Шарль (1882 – 1971) – французский писатель, драматург, поэт.

⁶ Маллармэ Стефан (1842 – 1898) – французский поэт, автор литературно-критических и исторических исследований.

⁷ Мореас Жан (1856 – 1910) – французский поэт, один из авторов «Манифеста символизма».

Но Иахим Иахимович Вуд, Попурчович (его свечносальный завод процветал) – не откликнулись; и, пропустивши его, пожимали плечами:

– Его поведение – растление...

– Он – дам...

– Даже девочек...

Им подкаблучивал толстый, проседый Пукэшкэ, болтаясь брелоками:

– Даже... мальчишек... Берлузила с пузика цепь от часов.

И стояли: доцент Роденталов, Буддяев, Бергаков и Штинкина (все, что хотите, и в частности, если хотите, саж-фамм), облеченная в ткани тигриные, с пальца лучащая ясный индийский топаз; композитор Июличев им объяснял:

– Дюпердри!

– Понимает Равеля ⁸!

– Знаком с Дебюсси ⁹!

– Даже... даже: с Матисом на «ты»!

О Мандро позабыли, стояло кругом: Дюпердри, Дюпердри, Дюпердри!

Уже всех пересек заостренной бородавкою Брюсов; и – замер один у стола, постаментом фигуры явив монумент своей собственной жизни: автобиографию.

⁸ Равель Морис (1875 – 1937) – французский композитор

⁹ Дебюсси Клод Ашиль (1862 – 1918) – французский композитор, родоначальник импрессионизма в музыке.

5

Где же они – сереброусые и седоусые дни?

Далеки!

Солнечное время; снежишки сбежали в два дня; уж отмазались двери; профессор, надев плоскополою шляпу, террасою в садик ходил: пошуршать прошлогодним проростом, листвою перепрелой и серой, которая в солнце казалась серебряной, где уже полный пенечек промшел, где уже обнаружались сохлины над водородной, еще сыревшей промоем дождя и пятном снеголеплин, пускающих из-под себя лепетавшие, полные отблесков, струи – под склон; где лежала дровина – полено к полену – с корою сырою и отставшей: узор обнаружить (в ней червь, древоточец, знать, жил).

На дровину вскарабкался, как показалось профессору издали, малый глупыш в неприятной, кровавого цвета кофтенке, кричавшей под солнцем, под ним, подбравши рукой свою юбку, в подол набирая дрова, загаганила Дарьюшка; там за забориком, мимо него промелькнула весенняя, голубоперая шляпка (весной появлялись двуперые шляпы); по небу летели сквозные раздымки; и небо присинилось там сквозь раздымки.

Профессор подставил свой лоб под припек; он припеки любил без затины; знойное место себе выбирал; и сидел, из лица сделав морщ.

Тут окликнули.

Он сиганул через комнаты и очутился в передней: прищурил глаза; и – увидел: стоит долгоухий японец, задохлец лимонно-оливковый; в черном во всем, выдается плечом надставным, черным стриженным волосом усиков и волосятами вместо бородки под очень сухой губою, промаслившись жестковолосым прочесом прически, рукой поправляя очки, сквозь которые черные пуговки сосредоточенно смотрят, как будто они пред собою увидали священнейший лозунг.

Профессор, как Томочка-пес, сделал стойку – с готовностью кинуться: взлаем; японец присел, чтобы пасть.

– Чем могу я служить?

Мелкоглазый японец засикал, как будто слова подавал он с подливкой, – «сиси» да «сиси»; он страдальчески так выговаривал русские буквы; напряжилась шея; и не выговаривал «е р».

– Я из Жапан плисол!

– ?

– Я писал с Нагасаки, цто скоро плиду к фам: из Жапан.

– А с кем же имею честь я? – не бросал своей стойки профессор.

– Я есть Исси-Нисси. Вот кто!

Теперь знал, что оливковый этот задохлец, стоявший пред ним, – разворотчик вопросов огромнейшей, математической важности, двигатель мысли, которого имя гремело во всех частях света в кругу математиков: имя громчей Ишикавы¹⁰; профессор стал вдруг просиявшим моршаном, блеснувши, как молнией, очками, – ну, точно стоял он в лучах восходящего солнца:

– Как-с?... Право, – считаю за честь... Из Японии?... К нам?... – протопырил японцу он обе ладони.

Японец, припав к ним, нырнул перегибчивой шеей под носом профессора, руку взял с задержью, точно реликвию; дернул и твердо и четко; подшаркнул: отшарком отнесся к стене, оторвавши ладонь; ведь понятно: профессор, который ему представлялся в стране Восходя-

¹⁰ Ишикава – известный японский биолог (примеч. А. Белого).

щего Солнца литым изваянием Будды, стоял перед ним, «не как лозунг „Колобкин“, – стоял как „Ван-Ваныч“. „Ван-Ваныча“ он и разглядывал – с пристальной радостью.

Да, – глядя в корень: в груди – разворох; галстух – набок; манишка – пропячена; выскочил – чорт дери – хлястик сорочки; жилет – не застегнут; уже из последней брошюры он понял: открытие близится в мир через этот про-пяченный хлястик.

И – набок все галстухи!

Да, – в Нагасаки еще раскурял фимиами Исси-Нисси Ивану Иванычу: три панегирика тиснул ему в нагасакском научном журнале; себя же считал он вполне неуверенно шествующим за Иваном Иванычем – той же научной стезею.

«Ван-Ваныч» пошаркивал.

– Как же-с, читал с удивленьем, читал-с, – в «Конферешен» – о ваших трудах... Удивлялся... Пожалуйте-с!

Жестом руки распахнул недра дома, введя в кабинетик, откуда он тотчас же выскочил.

– Знаешь ли, Вассочка, – там Исси-Нисси стоит – дело ясное: из Нагасаки. Так нам бы ты чаю – ну, там... В корне взять – знаменитость!

Любил, побратавшись с учеными Запада, он прихвастнуть русской статью:

– Вы – да... Мы – у нас: в корне взять, – русаки!...

Приглашал отобедывать их он русацкими блюдами: квасом, ботвиньями и поросятами с кашей; когда-то дружил он с Леже, как потом приударил за Подем Буайе, в его бытность в Москве. И теперь предстояло все это: братанье, турнир математики и, наконец, громкий спор: о Японии и о России:

– Вы – да: вы – япошки... Мы, чорт побери, – русаки! Предстояло: нагрев тумачами японца, торжественно мир заключить:

– Впрочем, светоч науки – один, так сказать! Ветерок потянул из открывшейся форточки; и слышался:

тонкий щеглячий напев.

– Азиатский ученый!

6

Прищелились в двери: Надюша и Дарьюшка.

– Вот он...

– Японец.

– Сюсюка, картава...

– Лядаший какой.

– Недоросток.

Японец с лицом цвета мебельной ручки (олифой про-шлися) сидел, наготове вскочить; и вскочивши, – пасть ниц, точно в идольском капище – перед литым изваянием Будды; профессор же носом развешивал мненья, щекою гасился, клочил волосы, из них строя ерши; и, бросаясь от шкапчика к полке, выщипывал он за брошюркой брошюрку: «О наибольшем делителе», «Об инвариантах», О символе «е» в «I» и в «фи».

Подносил Исси-Нисси:

– Вот-с; я написал...

– Вот-с...

– И вот-с, вот-с...

Японец привскакивал: благодарил:

– Я ус это цитал...

А профессор, довольный, хлопывал вздошье свое:

– Есть у вас аритмологи?

– Есть!

Нисси спрашивал тоже:

– А есть ли тлуды по истолики мацемацицески знани?

– А как же, – Бобынин почтеннейший труд написал! И блаженствовал носом с японцем: вот, чорт побери, -

не японец, а – клад; безоглядно летели в страну математики: мохрый профессор с безмохрым японцем:

– Да, да-с, – математика, в корне взять, вся есть наука о функциях, но, что бы там ни сказали, – прерывных: пре-рывных-с! А... а..., сударь мой, непрерывные, то есть такие, в которых прерыв совершается в равные, так сказать, чорт дери, промежутки – прерывны: прерывны-с! Они – частный случай...

– Как фи плопласали в блосюле о метод... Профессор подумал:

– И это он знает: и вовсе пустяк, что словами ошибся. «Япошку» смеясь трепанул по плечу:

– Вы хотели сказать «написали», «площадь» – «фелер махен».

Япошка, конфузясь, краснел:

– Ничего-с, ничего-с...

Подбодривши надглядом, приподнял, стал взбочь и подвел его к полочкам:

– Есть у меня тут... – совсем мимоходом расшлепнул брошюрочкой он паучишку (таскались к нему из угла)... – Вот вам Поссе...

Японец разглядывал Поссе.

– А вот вам Лагранж...

– Вот Коши¹¹, Митах-Лефлер, – расфыркался в пыльниках, – Клейн.

И японец уже веселился глазами над Клейном: сиси да сиси:

¹¹ Коши Огюстен Луи (1789 – 1857) – французский математик, создатель теории функций комплексного переменного.

– Дело ясное, – да-с – он добряш: зуб со свистом... И нате, наткнулись на спорный вопрос! Вейерштрасса профессор назвал декадентом; японец –

уперся: он читил Вейерштрасса; профессор поднялся нагрубнувшим носом, с тяжелым раздолбом пройдясь; он – сердился; он – фыркался; не понимает японец:

– Вы, батюшка, порете чушь: эти, как их, – модели пяти измерений; они шарлатанство-с! Еще с Ковалевской, Софьей Васильевной, мы: вы – туда же-с...

То было назад – сорок лет: Исси-Нисси в то время еще голоногим мальчоночком ползал вокруг Фузи-Ямы: что, право!...

Японец, продряхнув веками, – Кашеем сидел: и молчал.

Василиса Сергевна вошла – оторвать друг от друга:

– Пожалуйста: чай пить.

– Пожалуйста, милости просим, – опять суетился профессор, забыв Вейерштрасса. – А после мы, батюшка, с вами посмотрим Москву; да, – я вас поведу; для нас, русских, Москва, – так сказать...

Тут – представьте – японец не вспыхнул от радости: он – потемнел; он, признаться, едва лишь ввалился в Москву, предварительно ровно четырнадцать суток промчавшись в экспрессе, едва он стоял на ногах; а тут – с места в карьер!

А профессор с пропиркой тащил его к чаю; ведь случай – единственный; поговорить-то ведь не с кем; из всех математиков, разве десяток, рассеянный в мире, мог быть ему в уровень, Нисси – включался в десяток; и – вот он; профессор же был говорун.

Пролетели в столовую – лбами в косяк: бум, бух, бряк!

Карандашик упал.

Друг пред другом стремительно снизились на подкаракушки, чуть не ударившись: лбами о лбы; и сидели, ловя карандашик: профессор – орлом; Исси-Нисси – корякой такой сухоякой (дощечкою задница); он и схватил: будто это был нежный цветок, подносимый стыдливой невесте, стыдливо поднес карандашик профессору:

– Не ожидал-с! Не японец, а – мед!

Исси-Нисси уселся за стол: с дикой скромностью; он приналадился к слову и с завизгом им говорил про Японию; в звуке словесном был прогнус; сидел, наготове вскочить перед каждым, а был знаменитым: гремел на весь мир.

– Вы скажите нам – что, как: какие там люди?

– Жапаны.

– Какие там моды?

– С Амелики.

– Что вы!

– И с Лондон...

– Какие дома?

– В Жапан... – длил он словами, ища выраженья. И – прытко запрыгал словами, найдя выраженья:

– Нелься констлуил, как в Москва...

– Констлуил – что такое?

– Да строить, маман, – конструир: совершенно же ясно.

– Ну да – почему же? Искал выраженья:

– Там элда: тлясётся.

– Что?

– Элда: на цто все стоят, – сказал с задержью, свесив беспомощно руки (на сгибени пальцев – предлинные, желтые, свежепромытые ногти, не наши, а – дальневосточные).

– Что эта «элда»? – мизюрилась Наденька, щелкая праздно фисташками. – А, да – поняла: «элда» значит – земля: это он о земле...

Азиат!

– Да, вы – бедный народ!

– Ну-с, – поднялся профессор, – сидите, а я пойду, в корне взять, перед прогулкой соснуть – минут на десять... Нет-с, вы сидите, – почти что прикрикнул на Нисси, увидев, что тот поднялся. – Я вас, батюшка, не отпущу: покажу вам Москву-с...

Бедный: эти последние дни так замучили мысли, что он за японца схватился, чтоб с ним подрассеяться; он – заслуженный профессор, «пшеспольный» там член, академик, почетный член общества, прочая, прочая, прочая, – он был подпуган; гремел на весь мир, а боялся – Мандро.

Где закон, охраняющий ценную жизнь замечательной этой машинки природы? И есть ли закон, если жизнь этой личности определяется сетью ничтожных по ценности, страшных по цели интриг: ведь Ивана Иваныча, как национальную, даже как сверхнациональную ценность должны б заключить в семибашенный замок из кости слоновой, таскать на слонах, окружив самураями: математический богдыхан, далай-лама, микадо!

Так думаем вовсе не мы, – Исси-Нисси...

А он, между нами сказать, – под оглоблями бегал: де-ла-с!

Василиса Сергевна скрылась.

– Хотите, пройдемте-с по садику?

Наденька с Нисси – прошли; над просохом серебряным встали:

– Здесь Томочка-песик наш: похоронили его... Колебались причудливым вычертнем тени от сучьев; и

первая, желто-зеленая бабочка перемелькнулась к другою – под солнцем: приподпере-подпере-пере – пошли перемельками; быстрым винтом опустили, листом свои крылья сложили.

И листьями стали среди листьев.

– Вам папочка нравится? – Надя спросила. Японец, добряш, – просиял:

– Осень, осень!

Профессор Коробкин был идолом для Исси-Нисси; приехал устроить ему превосходное капище он; в этом капище видел Ивана Иваныча твердо на камне сидящим, на корточках, твердо литые два пальца поставившим перед литой, золотой мордой: в халате золотом!

Азиат!

Щебетливые скворчики вдруг обозначились: в кустиках: а сквозь орнамент суков прогустило апрельское небо: в распёрушках белых.

8

Профессор схватил плоскополою шляпу и в шубу медвежью впихнулся (зачем не в пальто?) с рукавом перепродраным (что ж не подшили?): под руку подцапнул японца; из двери с ним выскочил взбочь; тартарыкнув по скользким ступенькам, почти что свалился с японцем на полупроталый ледок.

Здесь опять отвлекусь рассуждением.

Касаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним младенцем, под цоканье очень опасных копыт, – как-то зря: в заседаниях, на кафедрах, – рыба в воде: все движенья – ловки, своевременны, стильны, изящны: а здесь, среди прохожих, кубарики эти – нелепейше вертятся: только одно поврежденье – себе и другим.

И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слон на спине, – при-мененье предметов, полезнейших в сфере одной, – бесполезное к сфере, ну, скажем, гулянья: такой точно вид, как, опять-таки скажем, термометра, употребленного при ковырянии носа орудием расковы-рянья: термометр – сломается; нос – окровавится колким осколком стекла; ртуть – просыплется: ни – ковыряния носа, ни – температуры! А, впрочем, коль нос ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и термометр.

Можно с большой осторожностью, – даже с ученым пойти: прогуляться.

Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспевал; в его жестах была непонятная задержка: наверное, двигался так манекен.

За забориком – издали – пели:

На улице нашей
Живет карлик Яша.

Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг просочилось солнце сияющим и крупнокапельным дождем; и обозначился: мокрый бульжник.

– Арбат-с!

– По Арбату проехался Наполеон, да – бежал, чорт дери...

– Мы Москву ему в нос подпалили! – показывал он на свое своеумие русского духа.

Таким разгуляем шагал, молодея всем видом.

– Артур бы не сдали-с¹²: извольте видеть, – тут Стес-сель¹³... Один Кондратенко¹⁴ русак, да его разорвали гранатой... А то бы – он вас...

– У нас тозе золдат: холосо...

Но профессор нахмурился: не понимает японец! Последний поглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.

Постояли под Гоголем: свесился носом; прошлись по Воздвиженке; тут, подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профессор сказал с наслаждением:

– Кремль-с!

– Кремлевские стены...

Не видя, что Нисси оливковым стал и давно уже пот отирал, он тащил его дальше:

¹² Порт-Артур – город-крепость в Китае, военно-морская база России во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Крепость была сдана японцам ее комендантом генералом Стесселем на 329-й день после начала войны, 2 января 1905 г.

¹³ Стессель Анатолий Михайлович (1848 – 1915) – царский генерал, комендант крепости Порт-Артур во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

¹⁴ Кондратенко Роман Исидорович (1857 – 1904) – генерал-майор, один из руководителей и герой обороны Порт-Артура. Погиб в бою в декабре 1904 г.

– Музей исторический: великолепное зданье! Японец чеснул загогулиной тросточки в Думу:

– Не это-с, а – то-с... Не туда-с... Как же это вы, батюшка: это же – Дума: Музей исторический – то-с!

Но японцу не нравился стиль: и профессор сердился:

– Япошка!

– Завидует!

Был Исси-Нисси в Париже, в Берлине, в Нью-Йорке; готический стиль ему нравился: русский – не нравился. Встала слепительность, в синеполосую твердь:

– Храм Спаситель ¹⁵!

Не видел он в местах умеренных поползновение на что-то японца:

– Зайдем? И – зашли.

– Это вот богоматерь, – с младенцем: картина прекрасная, очень...

– Видал Лафаэль...

– Верещагин писал...

И, не давши опомниться, – в купол: перстом:

– Саваоф ¹⁶!... Потрясающий нос – в три аршина, а кажется маленьким...

Головы оба задрали: и долго смотрели – молчком:

– Нос – с профессора Усова списан: не с Павла Сергеича списан, а – дело ясное: списан с Сергей Алексеича, втора – да-с – монографии «Единорог: носорог»...

А на скверике кустики вспучились, бледные, – добелу: перепушились чуть желтизною: там – зелени из бледно-розовых, бледно-сиреневых почек.

Прошлись вдоль реки.

На реке появились весной рыболовы с закинутой удочкой: вот проюркнет рыботек, – поплавок сребродровет, взлетит: только червь извивается: отлепетнула струей среб-робокая рыба; юркнула и – взвесилась темной спиной в зеленой водице; а наискось, над рыбо-розово-серой, зубчатой стеною Кремлевскою – башни: прохожее облако, белый главач, зацепилось за цапкую башню; и, став брадачом, отцепилось, теряясь краями.

Профессор увидел: вот – Федор Иванович Пяткин сидит, как и в прошлом году, – тот, который простуживает, тот, который, с Надюшей встретясь, поставил ее на сквозняк и рассказывал что-то, предлинное очень, до... флюса, – тот самый, который зимой позапрошлой с Иваном Иванычем встретившись, за руки взял, с ним уселся на лавочку, в снег, и рассказывал что-то, предлинное очень; и после подвел его под лошадиную морду, взмахнул в разговор: лошадь – вскинулась: в глаз просверкала подкова: и все – испугались; а Федор Иванович, – тот еще более: Федор Иванович Пяткин, дендролог, профессор в отставке, – у Храма Спасителя жил: и – под мост ходил рыбу удить. Надо правду сказать, что профессор забыл про японца; устал, призамолк: отбратался!

– Ну – вот-с и Москва: город древний...

– Мое вам почтенье...

– Пожалуйста, как-нибудь запросто к нам... И пошел себе прочь: с помаханием рук.

И стремительно прочь от профессора ноги несли самодергом японца – в «Отель-Националь», чтоб пасть замертво: в сон.

Вот мораль: не ходите осматривать с крупным ученым достопримечательностей городских; Москва – древний, весьма замечательный город.

А – что же в итоге? Кубарики...

¹⁵ Храм Христа Спасителя – один из крупнейших храмов старой Москвы; построен в 1838 – 1883 гг. в память Отечественной войны 1812 г. Разобран в 1930-е гг. в связи с реконструкцией Москвы.

¹⁶ Саваоф – в Библии одно из имен бога, выражающее идею воинственной силы, всемогущества.

Вечер стеклил.

И по небу неслися ветрянки: разорвинки облак; и – чуть прокололись звездочки, чтоб к ночи разинуться; был на реке – светоход; воды – дернулись ветром; на них испорхалося вдруг отражение месяца; после мелькач иссиявшихся бабочек ясно сбежался.

И вот: отражением месяца сделался вновь.

9

Василиса Сергеевна барышней долго страдала припадками, криком и корчею, после которых она повторяла без смысла такие пустые слова; а вокруг становилось все мнимо и мляво.

И вот повторился припадок.

Узоры обой острями спирались, можжили висок: растиралася уксусом – все оттого, что за твердой стеной она слышала:

– Хо!

Собственно – ророро-ро: грохотала пролетка.

Сидела она у себя, выясняясь в бледнявое поле узоров лимонного цвета; такая же мебель из репса; такой туалет; сверху, с зеркала, – кружево, кружева – много: везде; и везде – несес-серики; все здесь казалось весьма «несессер», – все, что нужно для дамы культурной, себя уважающей: том Задопятава с вышитой гладью закладкою; можно сказать, что и комната есть несессер; «несессер» и сама Василиса Сергеевна с тем, что она представляла собой – для себя и для зрения, вкуса и слуха: до... до обоняния (если принять во внимание сухость и запах изо рта, то – таранью ее было б можно назвать).

Нет, откуда ж «волнения», «страсти». И -

– Хо!

И не «хо», а «роро»: грохотала пролетка. Робея, глядела в окно; подойдя к подоконнику: стань-ка ты взбочь; и – увидишь: стоит!

Кто?

Идем к подоконнику, станем-ка взбочь; и – увидим мы: дворик; стоит мокрорукая прачка; мужик с жиловатой рукою засученной моет колеса; и – более нет: никого; из окна кабинетика видно другое: дома и заборы; и мимо – пролетки и люди; иной человек, проходя, невзначай заглядится в окно; и, пожалуй, покажется, что это взгляд, полный смысла, такой пронизательный, вещий, – к тебе относился; напрасно так думать; прошел этот «кто-то» с особенной думой, не видя ни домика, ни занавесок, ни тех, кто за ними отнес к себе то, что совсем не относится к ним.

Но, взглянув на все это, стремительно шла к себе в спальню (здесь окна – на дворик и в сад); на все доводы разума, – только:

– Мерзавка какая!

Иван же Иваныч наставился:

– Что с тобой, Вассочка?

– Как-то мне...

– Ты бы на воздух пошла: все сидишь: так – нельзя же; без солнца – бактерии всякие, Василисёнок, заводятся: ползают, – знаешь ли.

– Что вы за вздор говорите; я моюсь, – на мне нет бактерий.

– Ан нет: состояние духа, мой друг, – от бактерии; если неможется, значит – бактерии. Ты бы откушала вечером, друг мой, – «лактобациллин»: убивает бактерии.

– Всякую дрянь выливают на улицу дворники!

Дней уже десять назад, приблизительно в дни появления японца, профессорша вышла себе за перчатками – в центр: что ж такого? В иных бы условиях, если б во все не вмешалась бактерия, – встреча, в обычном порядке, как в прошлом году у Леньони.

У тумбы, с угла, средь претьяка прохожих, ждала ее дама, в пушащейся шапке, подвязанной под подбородком, в очках, стекляневших двумя черно-синими дисками; тут Василиса Сергеевна стала бледнухою, похолодев, засмирнев; все ж сказала она:

– Анна Павловна, здравствуйте!

Думала: случай с ее псевдонимом, открывшимся, с «Сильфой», весьма неприятен; но к случаю надо иметь отношение такое же, какое имел ее муж лет шестнадцать; анализ конкретностей «данного случая», очень мучительный, производил Никита Васильевич с Анной Павловой дома: «ан де»; «ан труа» этот случай – предмет игнорации:

– Здравствуйте?

– Здравствуйте! Или:

– Прощайте?

– Прощайте!

Она, руководствуясь мыслью такую, хотя и робея, но все ж подошла:

– Анна Павловна, – здравствуйте!

Анна же Павловна, – ей не откликнулась; и Василиса Сергеевна со взвешенной в воздух рукою, потупясь, – прошла: и казалось, что будет крутое падение тела ей в спину:

Ударилось в спину ей:

– Хо!

Препротивное «хо» (ну бы «ха»); это «хо» будто мазало грязью; она – быстро за угол вжимы локтей и в пропихи плечей под пестрявою лентою вывесок: -

– *Каж. Трикотаж. Покупайте у Каши; по черному – красное с золотом; «Все офицерам. Магазин военных вещей Солиграбова-Пенского»; «Улкин. Чулочно-вязательное» – синим: под ним: «Заведене». «Здесь покупаю случайные вещи: фарфоры и бронзы». –*

– Она – обернулась: старуха хромала за нею; и – за угол, чтобы не видеть и чтобы не слышать (осмыслится – после); теперь же – в давёж и в раскрику из букв: -

– *«Билиарды. Шары». «Зонты, трости». «Тюль. Кружево» - рыже-ореховым. – «Павла Негросова» – темно-зеленое. – «С. Самаварчик. Друг школ (бывший Тюшина)». – «С миру по нитке. Редакция. Еженедельник». –*

– И бегала здесь задыхаясь, – в сопровождении толстой старухи в очках, припадавшей на трость; наконец она бросилась в грохи пролетов, авто и трамваев, чтоб в смене прохожих укрыться на той стороне; и уж с той стороны промаячило: -

– *«Колчан Амура. Подвал» – темно-синее с белыми гроздьями; «Виноторговля Левкова». – «Матвеева. Прачка». И – Бар-Пеар. С неграми». –*

– Двигались мысли в недвижимом мире; и двигались ноги – в недвижимой мысли;

– Извозчик, скорей! -

Замаячили издали, бредом сплошным догорая в закат. -

– *«Золотых дел*

...Щупак!» –

– Табачихинский, шесть! И – с пролеткою: за угол!

Пусто: вразрядку пошли; зарябили заборики, домики, дома, литые решетки с кустиком, вскрывшим распуколки в зелень вечера; зрел уж разрывчатый лист.

И – стучало разрывчато сердце; за ней – никого; обернулась с второго угла – убедиться, что пуст переулочек; но там прогрохотывать стала пролеточка; точно свалилась в подъезд, бросив Дарьюшке:

– Если звонить будут, – дома нет.

В спину же грохало; но – не звонили.

С тех пор и болела; лечилась декоктами; званый обед с математиками, с Исси-Нисси, с квасами, с двумя кулебяками и с поросятами с кашей – пришлось отменить.

10

Неприятно почувствовать, что ты – мишень отливаемой пули; «та женщина» лет двадцать пять разрешалась в сознание удобнейшим способом; «та» – Анна Павловна; долго ли думать – известна была: у Ключевских бывала, у Усовых, у Звенифазовых: Павел Сергеич, Сергей Алексеич, и кто еще там – про нее; и стишок был, известный в Москве: «Анна Павловна» – как это?

Анна Павловна – строга:
Кто наставит ей рога?

Вдруг же: стала – «энигмом», хромым и седым, – там, на улице, с палкою.

У Василисы Сергеевны сознания не было: Анна-то Павловна с правом могла то же самое думать о ней: что – вот двадцать пять лет Василиса Сергеевна, дама известная, всюду была принята; у Ключевских, у Усовых, у Звенифа-зовых: Павел Сергеич, Сергей Алексеич, кто еще там – про нее...

И в стихах, кем-то писанных в восьмидесятых годах, где шел перечень, что у кого, между прочим, о ней говорилось:

У Николай Ильича Стороженко –

Все ясно: у этого – то; у той – это; но Василиса Сергеевна, «Василисёнок ученый», отмеченный, как принадлежность Ивана Иваныча, вдруг оказался чужой принадлежностью: можно бы было ведь в стиле отрывочка восьмидесятых годов написать, что -

У Василисы Сергеевны Коробкиной
Нет уж Ивана Иваныча!

Или же:

У Анны Павловны –
Нет принадлежности!

Словом: хочу я сказать, что разыгрывалось одно содержанье душевное в двух оболочках; и – стало миазменно как-то; на улице ж встал сплошной бред: «Золотых дел... Щупак», или «Бар-П еар – с неграми», в грохоте пролетов сплошное: «хо-хо».

Ядовитая женщина проядовитила стены; и многоголовчатую представлялась: одной головою торчала в дверях, головою другой караулила с улицы; третьей – вставала в окошке (кивать там насмешливо).

Вечером, в садик пройдясь, из ворот, проглядела она в переулок; пропятилось там очертание женщины, – с палкой, под рыжею тучей: на фоне глухой, желто-сизой стены; и ворона кружилась над ней, как над падалью.

Вдруг дерева забессмыслились в шопотах: завертопрашило в окна. Порыв налетел.

Десять дней уж прошло: написала Никите Васильевичу обо всем: от него она знала о «краже со взломом» в столе; он ей плакался, что уж три месяца с Анной Павловной совсе не видится (кушает, трудится и отдыхает один), что она, оградившись стеной от него, за стеною сидит; и сопит хам ужасно; ночами его настигает порой в коридоре,

со свечкой в руках.

Погрозится; и – скроется.

Да, Василиса Сергеевна в длинном письме в первый раз от Никиты Васильевича в резкой форме потребовала: уgomонить Анну Павловну!

Странно: сперва промолчал; и молчанием этим предательски он поступил с беззащитной женщиной; после уже получила письмо от него; написал – невпрочет, невразгреб: темновато и витиевато.

И – рожились: дни с подмигиванцами! Шторы в гостиной ложились лилово-атласными складками.

Из-за гардин, ставши взбочь, поглядела: с угла переулка старуха, сжав трость, упиралась к ним в окна двумя темно-синими стеклами, чтоб, став в дверях, наградить их ударами; темные горькие тени от тучи прошли.

Василиса Сергеевна, ахнув, – к себе: запереться; смирилась в тених, потрясухою дергаясь; там, из окна, – вид на дворик: росла молодятина, сохло белье на веревках: и желто-песочный просох исклокочился травкой под блестяшки дождя, в косом солнышке; разворошился людьми этот дворик: просунуться б, воздушек нюхать.

Она же, – смирилась в тених, уже зная, что... что...: как река льет струи свои в море, так точно со всех направлений лилась Анна Павловна к ним в переулок: с Телячьей Площадки.

А дни подсыхали; и радостно так дроботали пролетки: уже обозначалась леторосль отпрысков, веточек, жердочек; шелкнуло в воздухе птицею; даже был раз теплооблачный, голубо-пепельный день.

И потом все свернулось в дожди; и дожди обернулись в снежинки.

«Она», – не сошла ли с ума?

Потому что, – стояла литым изваяньем в угле переулка, застынув составом весьма разнородных веществ; подойдя к подоконнику, – в окна просунется; выйти из двери, – и следом пойдет: исковеркать ей жизнь.

То – часами бродила кругом переулка; но день изо дня уменьшались круги; приближались; и – снова: часами стояла там, наискось, и – было странно стояние толстой старухи в очках с перевязанной черным платком головою, с увесистой палкой, которую твердо держала она, на которую твердо она опиралась; ее – заносили снежинки; и – перегревали лучи; но – стояла.

Стояла все ближе.

Профессорша чувствовала, что – пойдет: станет прямо под окнами; будет кивать им оттуда и будет стучать им оттуда, – обславит; старуху и так уже видели.

Первой увидела Наденька:

– Я Анну Павловну видела...

И через день повторила – с тревожным вопросом во взгляде:

– Стоит Анна Павловна там?

В тот же день за обедом с дрожащим и с тихим мяуканьем, точно пожаловалась над тарелкою супу:

– Он а... еще там. И – как вспыхнет!

Иван же Иваныч, – представьте, – взмигнул; и – отрезал:

– Ия – ее видел уже.

Вопросительно обе взглянули, но он будоражил буфет перепрыгом под стулом; он знал, кто – «она»: тарарахал по скатерти, очень значительно чмыхнувши носом; что думал о «казусе» он? Ведь – слепец, ведь – ребенок, а – высмотрел. Может, он там, на углу, объяснялся?

Всем стало тут вдвое стыднее.

Иван же Иваныч с подгрохотом встал: Василису Сергеевну похлопывать:

– Ну – ничего-с...

– Обойдется, дружок мой, Вассочка...

Сел, и – рука заходила мясистой ладонью, которую крался он к мухе: схватить; Василиса Сергеевна, преодолевая себя, заминала «вмешательство»:

– Вам, говорят, бенефис приготовили?

Схватил муху; и пойманной мухой – шваркнул о стол: – И не мне, в корне взять: двадцатипятилетие празднует «Математический Сборник»... Я тут ни при чем...

Наступило молчание: снова уткнулись носами в тарелки; и будто в ответ на все то, что сейчас проходило меж ними, в пустом кабинетике встал мелодический звук, – еле слышный и жалобный:

– Дзан.

Кто-то сделал тут вид, что не слышит.

– В Москву возвратился Млипазов...

Тогда совершенно отчетливо, нетерпеливо, настойчиво – дзакнуло; бросив ножи, повернулись; профессор разинулся ухом.

И – грянуло громко в окне.

– Анна Павловна!

Страшно!

Иван же Иваныч, как впрыгнет, да как кубариком – в дверь: в кабинетик!

11

И в сумерках синих оконного выреза видел – отчетливо: рожа прилипла; казалось, что – желтая. Рожа в окошке исчезла.

Иван же Иваныч, шарахнувшись, влип – в желто-сизые стены; и – замер: подбюрок под окно несомненный! Схвативши фонарик, случайно (случайно ль?) просунутый между томами ван-Агнуса и Карла Вранца («Гешихте дер Математик» и «Проблемен») – вприсядку: к окну: заседать и молчать, чтобы – высмотреть.

Сел там орлом; осторожно подъерзывал носом; и ждал, как с фундамента выглянет; да – очевидно, что кто-то там влез на фундамент, таясь в застенном простенке, стененный, прилипнув руками, ногами и телом к стене; представлялся удобнейший случай поймать: того самого; или – то самое, что не давало покою, решив навсегда...

Потому что, – мелькания, тени и рожа в окне (оставалась такая возможность) могли оказаться «пепешками», «пшишками», то есть приливом кровей к голове.

Но звук «дзан», всеми ими услышанный, – вовсе не призрак!

Сидел на карачках, выерзывал носом; и слышал, что там, за дверями, сначала шушукались, плакались и, наконец, закричали, – Надюша и Вассочка:

– Папочка...

– Ах, да пусти меня... В дверь застучали.

Иван же Иваныч – дверь запер; теперь, из засады своей он не мог подать голоса.

– Вот еще дура – кричит: – эдак можно спугнуть!

И в засаде засев, видел: небо; вдруг – ти-ти-ти-ти-ти. И с ти-ти-ти-ти-ти (подшептывал в миг напряженья он) – подкарабкался.

Там же в стекле стал картузик, – подвыюркнув: перепривыюркнул с молниеносною скоростью; и, убедившись, что нет никого, – ну и к стеклу прилипать: чуткий пес за юлящего мышкою носом юлит – вверх-вниз-наискось – так, чтоб уткнувшись в норку, где скрылась она, присмиреть, выжидая.

Профессор Коробкин таким неожиданным, прытким и вертким, упругим, как мячик, летком быстрее молнии: с карачек – на стол; и оттуда (одной ногой – на столе, а другой – на окне) он двудырчатым носом – к окошку; и выстрелил наискось сверху в окно электрическим белым лучом потайного фонарика. В белом луче оказалась накрытая рожа – без носа: бульдожья, в картузике!

– Есть! – вскричал громко, слетевши (оттуда – сюда) с подоконника.

В то же мгновенье, с ним вместе отсюда туда (разделяло стекло), чье-то тельце, присосанное к камню стен, – отвалилось: и – шмякнуло наземь. Профессор Коробкин бежал от окна: законное тельце бежало в противную сторону, вот перебросилось через литую решеточку, дом отделявшую от тротуара; и вот перебросилось – вдоль переулка; профессор же, дверь распахнув, мимо плачущих Наденьки и Василисы Сергеевны, – в переднюю; цепи сорвавши, на улицу – с криком:

– Ловите, держите! – за юрким мальчишкою, улепетнувшим в пустой переулок: бесследно!

За ним же, стремительно выскочив с черной метлой из ворот, бежал Попакин:

– Да – барин, да – что вы? Забороздили заборики – мимо.

Неслись из соседних дворов, кто без шапки, кто в туфлях: бежал генерал Ореал (отставной, опустившийся) – за прожителями домов Янцева и Шукеракина; все собрались под криком фонарем, окружив запыхавшихся и растарашами друг перед другом стоящих – Ивана Иваныча и Тимофея Попакина.

– Видел-с!

- А я говорю – никошоеньки!
- Вор в окно лез! Так кричали они.

Генерал Ореал и все прочие – слушали; кто-то, одетый в пестрявые брюки и пестрый пиджак, проходя, обернулся; и – дальше пошел.

- Говорю вам, что видел!
- Помилуйте, я по сию пору тут в приворотне сидел!
- Он уж видел бы, – Шохин сказал.
- Да-с, морщинистый, – да-с – с черным носом, – упорствовал громко профессор.
- Морщинистый!...
- Слышь?...
- Говорит – с черным носом он... Не удивился один генерал Ореал:
- Я всегда говорил... С этим человеком... Позвольте пожать... Генерал Ореал...

Возвращались кучей к подъезду, откуда выглядывали уже Дарьюшка с Марьей, кухаркою.

Шохин сказал:

- А я знаю – кто...
- Кто?
- Это – Яша.
- Как-с?
- Так, очень просто, – настаивал Шохин.
- Я – не понимаю вас, – остановился профессор: и очень тревожно моргал.
- В Телепухинском доме живет карлик Яша: блажной и безносый: так – он.
- Раскрывались окошечки: слушали: и – соглашались.
- Он... он... Он и четь!

Обозначалась новая стека людей; и тут Дарьюшка, вспыхнувши, – носом в передничек: фырк!

Потому что раздался из стеки насмешливый голос:

- Он ефта за Дарьей, курчонкин сын, лязат: надьсь в саду лапались!

Марьюшка, Дарья, профессор – стояли в передней; все прочие же гоготали на улице; лишь генерал Ореал собирался, да Марьюшка – дверь затворила: ему прямо под носом:

- Яша и есть.

– Просто, барин, нет мочи: таскаться стал в кухню: его я – взашей; а все Дарья... Вы не сумлевайтесь... Какой это вор... Лез за Дарьей: подглядывать... Как тебе, право, не стыдно... Нашла обважателя!

Фырк!

Успокоились: все разъяснилось.

- Энтот же самый карлишка, – вполне безобидный: с амуром в мозгах!
- С перетрясом!
- Пархуч.

Как-то радостно стало: не вор.

- Это он.

– Он...

- Карлишка!...

Профессор вполне раздобрел: объяснялось, что «это» – не «это», а просто – карлишка!

И, ткнувшись в Марью, кухарку, пожвакал губами, слагая в уме каламбурик:

- Вы, в корне взять, – Маша?
- А как же-с!
- Вы варите кашу нам?
- Кашу варю, – ну?
- Он – Яша?

- Ну, – Яша... А что?
- Он – без каши? Фырк, фырк!
- Ну – так вот-с! И – прочел:

Прекрасная Даша,
Без каши ваш Яша...
А каша-то – наша!
А варит-то – Маша!

Пошел пир горой!

Позабыли: за дверью все ждали, бледнея, не смея просунуться: и, уж услышав стишок, они поняли: нет, – не «она»; Василиса Сергеевна – в слезы; Надюша – салфеточкой в пол:

– Как не стыдно вам, папочка: мамочка – в горе, а вы... Присмирел.

12

День дню – рознь.

И зигзаг от испуга к нечаянной радости, не разрешаясь ничем, разрешился часов через двадцать.

Раздался звоночек.

Просунулась в двери большая толстуха, какая-то вся отверделая, с черно-лиловым лицом и в больших черно-синих очках:

– Вам кого?

– !

– Может, барина?

– !

– Барышню?

– !

– Может, барчонка?

– !

– Кто там?

– Да какая-то барыня – за подаяньем, должно быть: молчит, не в себе.

Все вскочили.

– Пойду!

– Нет, голубчик мой Вассочка... Боже тебя упаси... Предоставь это мне...

– Мама, мамочка, – спрячьтесь.

Но знала: пороги сознания сняты; стоящее надо принять: и, шатаясь, – пошла, меловая, немая; профессор рванул прочь от двери ее; сам же – в дверь: как барбос, защищающий дом свой от вора, к старухе он ринулся; пальца подставивши два под очки, – стрельнул стеклами: в стекла очков.

– Анна Павловна, вы бы оставили, знаете, да-с, – эти штуки...

Зажутил!

– ! – ударило кровью в голову.

– Письма, которые, в корне взять, – он загремел, – вы прислали, они-с адресованы вовсе не мне-с, в корне взять, а – Никите Васильи... – вскричал оглушительно, -... чу.

– !

Пуще злился: стояла пепешкой: два круга очковых – не двинулись:

– !

– Я Никите Васильевичу возвратил, – дело ясное их!

– !

У него за спиной с громким плачем пошла; оказались «они» друг пред другом; казалось – один только миг, и – повалятся друг перед другом: в глубокую падину.

– Анн... Анна Павловна!

– !

– Анн...

Хоть бы что! Василисе Сергеевне осталось одно: простоять под ударом стеклянного синего выблиска – в тысячелетях.

– Никита Васильевич...

– !!

И старуха схватилась рукою за шею: и – голову – набок, скривив все лицо:

– !?!?!.

Протопыривши руки вперед, уронила тяжелую трость с перегрохотом; грянула склянка о пол из руки, пырснув едкой жидкостью, звоном и градом осколочков – в стену, одна только капля попала на Надино платье.

– Что?

– Кислота!...

– Помогите ей, разве не видите вы, что она...

– Анна Павловна!...

– Что с вами?

Анна же Павловна, толстой рукою схватяся за толстую шею, дрожала и силилась высвистнуть что-то, как автомобильная шина, когда ее палкой проткнут:

– Пшш... Высссс... Вд... Догадались:

– Воды!

– Пшш... Пшш... Пшш!...

Неожиданно села на корточки, с грохотом вправо и влево колена расставив и свесив меж ними живот; все сказали б – пустилась впрыскаю (на миг обнаружили толстые икры в суровых кастровых носках); и потом это все грохнуло, – лиловым лицом о косяк, от губы протянувши слюну – промычало; и – пало стремительно.

Разорвалась артерия!

13

Бросились: к колким осколкам разбившейся склянки и к павшему телу; среди них – Надя, Митя (он выскочил), Дарьюшка, Марьюшка; вот хорошо: кислота, прожигая обои, безвредно стекла со стены: лужей в угол; Иван же Иваныч не видел, как толстое тело тащили, как толстое тело сложили со свисшей рукой; туматошил над бившейся в спальне женою; Надюша – над телом глаза растарашила.

Кто-то, догадливый, бросил: прислугу – к врачу, а Митюшу – к Никите Васильевичу.

Врач, Георгий Григорьевич Грохотко, – мигом примчался: потискавши тело и что-то проделав над ним, он отрезывал.

– Апоплексия?

– Инсульт!

– Что такое инсульт?

– Апоплексия. Ткнулся в раздутые ноги:

– А, а, а: не действует! В правую руку:

– Не действует тоже!

– Конец?

– Нет, – пожал он плечами, вертя светоскопом, – протянет год, два, – до второго удара.

Ткнул пальцем:

– Комплексия: штука обычная. И – бросил он тело:

– Дела... А Коковский, Коковский-то!...

– Что?

– Трепанация!...

– Черепа?

– Опухоль мозга.

– Да что вы!

– Ну, – я проколол позвоночник: подвысосать жидкости; воздухом столб позвоночный надул... Обнаружилось, – и завертел стетоскопом...

– Ну? И?

– Обнаружилась опухоль мозга... Да, да: пол-Москвы в инфлуенце... Ну – нет: мне пора...

И Георгий Григорьевич – в дверь: лбом о лоб с Задопятовым.

Бедный старик прибежал растарашею, в плещущей крыльями, клетчатой, серо-кофейной крылатке, с полураспущенным зонтиком в левой руке; был он бел, как паяц, и морщинист, как гриб, выдаваясь ужаснейшей сизостью очень опухшего носа (как будто он пил эти дни); он плясал неприятно пропяченной челюстью; зонтик ходил ходуном в его левой руке, когда, правой рукою схватясь за Надюшу, он выдохнул с громким усилием:

– Где?

– Дз-дз, – кокнул осколок стекла у него под калошею.

– Вы осторожнее: тут... Спыхватилась:

– Тут... тут... вот сюда... И потупилась:

– Тут – кислота...

– Где она? – ничего он не понял; и так, не снимая крылатки, в калошах ввалился в гостиную с полураспущенным зонтиком; сел пред запученным телом, схвативши за ногу его:

– Анна!...

– Аннушка!...

Не было «Аннушки»: пучилось мыком – большое, багровое «О»!

Тут профессор Коробкин подкрался к плечу его теплой ладонью, как... к... мухе: «Никита Васильевич, вы, – трепанул по плечу, – ты мужайся, брат», – взлаял он.

«Ты» проскочило вполне неожиданно: точно он вспомнил совместные годы гимназии, угол в клопах, куда хаживал часто со Смайльсом в руках «Задопятов», соклассник, – к «Коробкину», к «Ване»:

– Еще, чего доброго, брат, – Анна Павловна встанет!

14

И дождь, Сверкунчишко Терентьевич, затеньтеренькал по крыше; и стал переулочек не Табачихинским, а Сверкунчи-хинским; Камень Петрович стал Камнем Перловичем; камни и крыши испрыскались дождичком.

Забирюзовались воздухи.

Желтый просох исклопочился травкой; заширился топольный воздух везде; и потом уже только раскрылась сирень; и сиреневый запах душил переулки; стояло дзененье комариков в серо-зеленые сумерки сада; и щелкало птицею; первая ласточка, забелогрудясь, взвизгнула: взвесилась в воздухе.

Стало тепло и пленительно.

Но безобразней валили бульваром безрылые толпы; из желтого гарева бухали меди оркестра. И кто-то, одевшись в летнепикейные брюки и в пестрый пиджак, с белоснежной панамой, зажатой в руке, подмахнув камышовую тросткою, неся – и неся и неся – в открытые дали сквозных переулков и улиц за «нею».

«Ее» – нигде не было.

Федор Иванович Пяткин, надев парусинный картузик, бродил, как и в прошлом году, и выискивал случай: напасть на знакомого.

Словом – весна!

И – Москва.

И Москва развалилась в весну, растарашась кварталами, – этим, сплошь сложенным из серо-желтых и серо-сиреневых кубов, с пролетом ландо, лихачей и трамваев под ними – в Сокольники, в Парк (под открытые сцены), ис этим – вразброску: пяти-, одно-, снова пяти-, снова одноэтажных и двух-трехэтажных домов: вот и с этим, которого цвет – белый с пагряцею и которого дом – двухэтажный, без лепки, украшенный синею вывеской, с очень невзрачным проглядом подвальных окошек, откуда виднелся проход сапога пешехода (не сам пешеход), изнуряемый сыпью известки, разложенной аспидно-сереньким, серо-сиреневым, серо-песочным, желточным и розовым колером, только кой-где молодевший подцветом: морковным, кисельным, зеленым.

Дома деревянные, колером серо-кофейным, кофейно-коричневым, – разнообразили улицы; а переулки кривели живою раскрикой цветов: сине-грифельных, аспидно-розовых, где из двора проросла молодятина, где и забор прозвучал спевом ветра с гармоникой, а подзаборье рябило расплюями семячек, павертнем мух, улетающих в открытые зной; под грохот пролеток рыкал оглушительней лбастым булыжником в этом квартале; а тумбы – кривее здесь были; серей – мимоходы людей; когда небо – взадуй, здесь – сильней вер-топрашило: и открывались везде сухоплясы; и дом здесь стоял, точно каменный ком.

Дом за домом – ком комом!

Там вечером кто-то садился и видеть, и нюхать: желчь пламени павшего четко на стену глухую; и коврика дух за-вонялый в окошко.

Вот улица с рядом фасадов (фасад за фасадом – ад адом); и вдруг – переулок тишайший.

Там дом деревянный, с дубово-оливковым колером и с полукругом резьбы надоконной надстройки, – стоял, украшаясь и ниже резьбою: Пегас, конь крылатый, припавший и справа, и слева к Горгоне (копытом и гривой – под змеи), был вырезан ясно; жильцам невдомек, что то вырезан миф; здесь, в прощеле ворот, и глубоком, и узком, вытарчивал угол сарая, качалась веревка с просушиной тряпок лимонных и синих, белела глухая стена трехэтажного дома, глядевшего в Пащеков глухо заросший листвою большого зеленого сада тупик, обливавший Москву соловьиным отщелком, – с сидящею девушкой в серо-сиреневом платье и в пляшущей ветром юбочке.

Над ней – белилей лепесткой загроздившей сирени в глубоком и синем Васильевском небе, где облако, продувень, тая, терялось клоками.

Все это – Москва!

И Москвой назывался район, где Пречистенка, улица тихая, тая в сплошных переулках, стояла домами отдельными; там – в переулках – дома, отойдя с тротуара в глубь сада, скрывали свои и колонны, и окна листвою.

Свернем...

Вот – тот дом!

Пять жерельчатых, белых колонн, – без дантиклов; к абакам принизился розовым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в голубо-пепельный и в теплооблачный день; он тишал, отступя от колонн розоватой втеною с гирляндами белых венков над промытыми стеклами окон и чуть вдаваясь выступом низа: сложеньем квадратов; в подъезде – два льва, к тротуару слагающих продолговатые морды; и легкая арка ворот: в теплооблачный воздух; литую решеткой, скрещеньем Гермесовых жезликов, – отгородился от улицы; дворик асфальтовый, камень конюшни, кусты, – те, которые после дождя сребродроги: дотронешься, – и оборвутся потоками капель в тот час, когда кто-то у окон присядет покуривать в бисерный воздух, когда на обтесанных плитах подъезда детва плюет семечком в вечер, а вечер, уже от-стеклившись окошком, является облачком цвета вишневого.

Рядом – пальметы, дантиклы, гирлянды оливково-темных колонн дома бледно-фисташковых колеров, где из гирлянд отовсюду просунулся мордой профессорский фавн овнорогий, затмившийся в зеленоватые сумерки, в шум от деревьев за домом живевшего сада; над купами месяц, свое новолуние спрыснув, твердится сквозным халцедоном из мутно-сиреневой тверди.

Москва!

Да, – она

А уж парит!

И – загорзело; деревья склонились друг к другу бессмыслицей, шопотный смысл в них явивши; и пагубородное что-то закрыло луну, перед нею пропятыся лапой – когтистою, черной – подкравшейся тучи; уж лапа разорвана в желто-зеленые и в желто-черные клочья; над ней, за трубой дымовой, – черно-желто-зеленая пасть: уже жутя, в пустом переулке дряхлец тащит челюсть на шее; фасад за фасадом – ад адом.

И двери, как трещины.

Загорзело: ругается где-то проходящая туча; темнеет; за крышею семиэтажного кубища небо – взадуй: сухоплясами в окна; и – молньями в окна; дом, каменный ком, вспыхнув в выжелчень пламени, смерк; и в нем кто-то, дряхлый, на бедой стене в переулочке, вспыхнувши шеей и челюстью, – смерк.

15

Положа руку на сердце, – там, на эстраде, в проходах – стояли, сидели, обменивались впечатлением, поклонами или протирали пенсне, – Айвазулина, Бабзе, Ветмашко, Глистир-ченко-Тырчин, Икавшев, Капустин-Копанчик, Нахрай-Хар-калев, Ослаббнев, Олябыш, Олессерер, Пларченко, Пла-чей-Перперчик, Шлюпуй, Убавлягин, Уплю, Фердерперцер и прочие, прочие – вплоть до Боговича: свора имен! Из них каждое – «им я», согбенное бременем лет, много-томных трудов, орденов и ученых дипломов, уже заключенное заживо в «Энциклопедию»; хоть бы – Пластальцев, лет десять сидящий в «Гранате»¹⁷ (такой есть словарь) меж «пластрон» и меж «Плантагенеты».

Хотя б – Айвазулина: женщина-стереохимик, взошедшая на Титикаку, сказавшая спич в Сантафэ-де-Боготе, надевшая около острова Пасхи скафандру и после едва не бежавшая с дон-Бордигере-Хуан-де-Петелло, министром бразильским; Глистирченко-Тырчин, прорезавший опухоль горла у вдовствующей кронпринцессы австрийской; Нахрай-Харкалев, путешественник, автор двухтомья «Цвай ярен мит антропофаге н», друживший с Нь я м-Нь я м а м и, съевший в Уганде засохшие уши убитых врагов негра Мбэбвы, ошибочно думая, что то – сухие грибы; а Капустин-Копанчик (вот он – челюсть пятит к мадам де-Моргасько), он автор работы «Отчет по окраске плазмодиев осмиевым препаратом» (три тома); Шлюпуй – не шлюпак» (в словаре у «Граната» они оказались рядом), а (явствует все из «Граната») профессор и автор работы «О действии Леонтодон-Тараксакотум на сокращенье кишечника Лутра Вульгарис»; а Плачей-Пеперчик, известный в Германии, в Льеже. Досель в гейдельбергском химическом техникуме стоит крик о «пепертшик, с титрируйтен».

Все появились они, чтоб отчествовать «Математический Сборник»; и – да-с – вот так фунт: основателя «Сборников» этих, Ивана Ивановича, ждал бенефис, да – какой еще!

Фунт с полуфунтом!

Ивану Ивановичу было невтолк и невесть, – что же, собственно, будет; обычно он вел заседанья; он – был заседаньем: решал, открывал, заседал; сообщал – только он; все иные, присутствующие в «Математическом Обществе» – только молчали: сегодня он был отстранен от всего (Млодзиевский взял в руки его); дело ясное, – да-с, – что предмет заседания – он; в этом случае сам соблюдал отстраненье; держался «предметом»; и тупил глазенки, когда заводили беседу об этом; сегодня бодрился с утра; перетрусил к обеду.

Теперь – дободрился и – выглядел доблестно.

Попричесался, загладил махры; и казался, представьте, курчавиком; шелкал крахмалом пропяченной грудью; во фраке кургузом – курбатином выглядел; с ним обходились внимательно; как показался в профессорскую – разбежки, подбежки; Млодзиевский, и тот – бегуш-ком: петушком! Члены Общества и делегация были во фраках смешных, белогорлые и белогрудые; туго зафранный Умов подкрался на цыпочках – с ласкововещим, искательным голосом; все вокруг сгрудились, друг другу внушая очками: быть легкими, ясными; слышался шопот:

– Как?

– Не принесли?

– Депутация от...

– Депутация...

– Тсс!

– Ай, ай, ай, – что вы, батюшка! Вы бы... И «батюшка» спешно куда-то летел.

Физиолог растений Люстаченко (гербаризировал двадцать пять лет) с Щебрецовым шептался в углу: говорил, что хотели – ей-ей – в гидравлическом прессе системы Дави назвать

¹⁷ «Гранат» – имеется в виду «Энциклопедический словарь» т-ва «Бр. А. и И. Гранат и Ко».

винтик ответственный – «винтик Коробкина»; и утверждалось, что Павлов, геолог, в штрифе «гиперстен а» найдя что-то новое, новое это принес, чтоб отметить «Коробкинский день»; на Коробкина нежно косились очками, как бы приглашая друг друга вполне восхититься: единственным зрелищем; он, повздохав, покорился тому, чтобы «чих» его каждый возглавил там что-нибудь; фрак же на нем был кургузый немного: с промятою фалдою.

Фалдами мягко юлили вокруг.

Гоготень доносился из зала.

Студенты ломились толпами там, заполняя проходы и хоры; прилипли к стене; был галдеж под колоннами: распорядитель в линейной перчатке, в зеленом мундирчике, с воротником золотым, – прижимая шпажонку, показывал, где кому сесть; порасселись седые профессорши в первых рядах, в платьях скромных фасонов и колеров (с рябью) – тетеркиных, коростелиных и рябчиковых: все – такие индюшки, такие цесарки; ряды – лепетливые; дамы – почтенные; кто-то, кряхтя, костылял; поздоровался с Суперцовым, с Тарасевичем, Львом Александрычем, с Узвисом; маленький ростом Анучин с лицом лисовато-простецким, с лисичьими глазками, морща свой лобик, хватался за нос, проходя на эстраду, где груди крахмалом пропятнулись; но задержался с Олессерером.

И Олессерер важно лицо оквадратил.

Олессерер площадь сознания разбил на квадраты наук, иль – кварталы; и в каждом поставил кварталного: здесь стоял Дарвин; там – Кант; и – показывал палочкою: «от сих пор – до сих пор»; умерял циркуляцию мысли кварталным законом («от сих» и – «до сих»); когда мыслил Олессерер, – переменял он кварталы: здесь – звездное небо; там – максима долга; его мирозрение не было, собственно, «мировоззрением», – адресной книгой участка, где каждый прописку имел; здесь прописан был Дарвин; там – Кант¹⁸; на вопрос, что есть истина, он отвечал себе: «Мысли в таком направлении – то; мысль в эдаком – это!» Был враг прагматизма; боролся с Бергсоном¹⁹ и Джемсом²⁰: «Помилуйте, – хаос сплошной!» Все ж, – Бергсон мыслил хаос, пускай хаотически; Гитман Исаич Олессерер люто боролся с прочтением чего бы там ни было, с уразумением чего бы там ни было; читывал он лишь прописки в участки *того* или *этого* факта, в принципе невнятного; строгость логических функций его был отказ от попытки: помыслить.

Женат был на дочери брата Кассирера.

Передрябевший щеками и носом провисшим с прискорбнейшим драматургическим видом, во фраке, сжимая в руке шапоклак, – одиноко прошел в первый ряд Задопятов; осунулся; на Задопятова как-то дрызгливо глядели:

– Вы знаете, что – Анна Павловна?...

– Что с Анной Павловной?

– Да апоплексия!

– Бедная!...

– Не говорит, а – мычит!...

В узком фраке, прилизанном к узкому телу, легком пробежал Исси-Нисси, застряв под эстрадою в первых рядах, и, бочком проюркнувши, исчез в центре их; вновь привыюркнул и – на эстраду взвился, точно ласточка, взвевя развилочки фалд; и – шептались:

– Вот!...

– Где?...

– Исси-Нисси.

– Японский ученый!

¹⁸ *Кант* Иммануил (1724 – 1804) – немецкий философ, чьи взгляды сыграли большую роль в становлении мировоззрения Андрея Белого.

¹⁹ *Бергсон* Анри (1859 – 1941) – французский философ-идеалист.

²⁰ *Джемс* Уильям (1842 – 1910) – американский философ-идеалист, создатель теории прагматизма.

– Известный ученый!

А Исси уже на эстраде сисикал:

– Си-си... С Нагасака плисла телеграмм...

– Си-си-си...

– С Нагасака плофессолы все...

– Ишакава, Конисси!... Си-си... Катаками!... Сплошной риторический тропик: с гиперболой – в пуговках глаз, с очень явной метафорой – в mine.

Уже на эстраде сидели, – отделами и подотделами: геологический, геогнозический, географический, геодезический, геологический; далее, далее, – хоть до «фиты»; среди «точных» ученых терялись «неточные»: Л. М. Лопатин и Г. И. Олессерер; диалектолог почтенный пропятился челюстью; старый гидрограф, сердясь, устанавливал запись приветствий.

Да, да, – над зеленым столом поднимался изящный ландшафт из крахмалов, пропяченных докторских знаков и беленьких бантиков; просто не стол, а – престол; не графин, а – блисталище; не колокольчик, серебряный – «гравик»; все ясно вещало о том, что уж близится время, когда прикоснется рука, прошелясь из манжетки, – к звонку, – огласить:

– Совершилось!

И станет Коробкин, – здесь скажем, вперед забегаю, – совсем не Коробкин, а «Капша»-Коробкин.

16

– Ну, что ж, Болеслав Корниелич, пора?

Млодзиевский же нежно взглянул на Ивана Ивановича, точно он был белым лебедем: кренделем руку подставил.

– Пора-с!

С ним – летунчиком: к двери!

У двери – всемерная бежность: проход на эстраду, где, к стенке прижавшись, стояли магистрики: профессора выплывали квадратами: Суперцов, Видитев, Ябов, Крометов, Мермалкин, Орпко, фон-Зоалзо; и – прочие; приват-доценты летели меж ними, построив косые углы.

Из-за всех прокурноснился он, ими всеми ведомый, как козлище.

Шествие было скорее введением, – внесением: почти – вознесением; и справа, и слева – бежали за ним; и – бежали пред ним; в спину – пхали; старался степениться; и – выступал, сжавши руку в руке; так был пригнан к столу, обнаружился, с задержью, голову набок склонил; и стоял, озираясь какой-то газелью (сказать между нами, – стоял лепешом).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.